

Людмила Петрановская

9 мая или Война как травма

Хочу написать наконец про то, про что уже несколько лет думаю. Про войну как про травму.

Как-то показывали фильм документальный про создание мемориала Неизвестному солдату в Александровском саду. Когда выкопали в местах боев неизвестные останки и несли в Москву, чтобы захоронить под стенами Кремля. И выходили толпы людей, весь путь проходил в людском коридоре, никто не ожидал этого, никто никого туда не стогнал. Просто по сторонам молча стояли люди. А потом, когда уже открыли Мемориал, поехали со всей страны. Моя бабушка тоже поехала, аж из Ташкента, потому что ее брат Рафик погиб где-то там, могила была неизвестна, и она думала — а вдруг это он. КАЖДЫЙ думал про своего — а вдруг это он? И шли, шли, шли.

А в Ташкенте было кладбище, где умерших в госпиталях хоронили. И все шли туда, хотя своих-то там не было, со всей страны же везли. Я помню из детства — уже к середине дня были горы цветов выше моего роста. Никто не заставлял, не организовывал. Людям было надо.

И еще помню из раннего детства: как минута молчания проходила — город пустел. ВСЕ были у экранов. Как-то мы не успели с мамой и ехали в пустом автобусе по пустым почти улицам.

Тогда же примерно песня появилась про «праздник со слезами на глазах». И вокруг плакали под нее, я видела.

Но послушайте, мое детство — это начало 70-х. 30 лет прошло! Не год и не пять. Ведь все это поведение людей было ничем иным, как выражением горя. Не радости Победы, не гордости, а именно глубокого, непрожитого горя. Я сейчас не об официальных фанфарах и лозунгах. Я про реальное состояние людей. Сейчас, оглядываясь в прошлое профессиональным уже взглядом, я вижу все признаки проживания острого горя, не прожитого когда-то. Так плачет на сессии клиент, который много лет назад потерял отца или друга и всю жизнь прожил, не позволяя себе прикоснуться к своей душевной ране. А сейчас вдруг прорвало и он плачет, не стесняясь слез, и даже начав успокаиваться, вдруг снова плачет.

И когда видишь это так, многое, очень многое обретает другой смысл. Довольно трудно писать об этом структурированно, потому что я часть этого народа и не могу анализировать спокойно. Наверное, еще не скоро кто-то сможет. Это душевная боль, которая рядом, стоит за плечом. Она еще и сегодня не прожита вполне. Но если я хочу быть понятой, надо как-то постараться.

Итак, травма. Сама по себе травма оказалась самого худшего вида.

Прежде всего, очень обширная и очень глубокая, ведь и правда, ни одной семьи не осталось не задетой, а в некоторых районах — каждый четвертый погиб. Всего за пару лет, по сути, — максимум жертв пришлось на первые два года. Это катастрофический масштаб потерь. Если судить по потерям, война была проиграна. И кто сказал, что символические вещи вроде флага над Рейхстагом и пакта о капитуляции важнее этого простого факта.

Далее. Погибли не только солдаты, воины с оружием в руках, осознававшие по крайней мере свой путь. Эта война была отмечена огромными потерями среди мирного населения: детей, женщин, стариков. Бросали и убивали раненных, бомбили эшелоны беженцев, морили голодом Ленинград, расстреливали семьями евреев. Гибель невинных, не воюющих, слабых — это многократное усиление травмы. Никакой воинской доблестью тут не утетишься, со смертью солдата Победа помогает примириться, со смертью ребенка — нет.

Еще. Смерть многих людей была мученической, зверской. Это очень сильный фактор травматизации, если знаешь, что близкий и даже не очень близкий человек не просто умер, но еще и мучился. А ты ничем не мог помочь.

Более того, армией, которая оказалась по факту небоеспособна, были очень быстро отданы огромные территории, на которых остались люди. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» Травма, отягощенная виной, всегда очень болезненна и имеет тяжелые последствия.

Наконец, самое тяжелое. Эта душевная рана была не только глубока и обширна, она была инфицирована. Известно, что люди легче переносят травму, нанесенную чужим человеком. И очень с большим трудом переживают насилие со стороны близких, особенно родителей, старших братьев и сестер — то есть фигур, ассоциирующихся с защитой и безопасностью. Девочку, на которую напал чужой дядька в лифте, гораздо легче реабилитировать, чем девочку, которую изнасиловал отец. Потому что тогда насильник и защитник соединяются в одном лице, человек не может разделить в своем сердце любовь и ненависть, это состояние называется амбивалентность, сплав чувств, когда

любовь и ненависть — одно целое, и их не оторвать друг от друга. Одно из самых мучительных душевных состояний, которые вообще возможны, врагу не пожелаешь. Одно из самых разрушительных для личности и трудно поддающихся терапии.

Травма войны в плане амбивалентности — классический случай. Потому что все знали про штрафбаты, и про СМЕРШ, и про штурм высот ко дню рождения Сталина, и про брошенных в окружении, и про практику побед путем заваливания дотов противника пушечным мясом, и про насильственную мобилизацию женщин и подростков на рытье окопов. Не говоря уже про развал армии, про наглую ложь населению про «малую кровь и чужую территорию». Ну, и много чего еще не знали: про осознанную провокацию этой войны, про банкеты в блокадном Ленинграде, про предательство своих, например, Варшавского восстания. Но чувствовали.

Инфицированные раны никогда не заживают легко и гладко. Они кровоточат очень долго и обычно потом ноют всю жизнь, даже если в конце концов зарастают. И их очень важно очищать. При терапии амбивалентности главная задача — отделить все-таки любовь от ненависти, и дать ненависти выход. Тогда человек сможет освободиться и жить дальше. А вот с этим все было очень плохо.

Там еще есть много всего, что отягощало травму, но главное названо, и я пойду дальше. Каковы могут быть и были последствия такой травмы и каковы были потом, когда все закончилось, условия для исцеления травмы.

Пережитая травма рушит образ мира, разрывает эмоциональные связи, вносит в жизнь хаос и чувство незащитности перед силами судьбы. Весь этот болезненный опыт надо пережить, осознать, упаковать, чтобы можно было выстроить новый образ мира и жить дальше. Это большая душевная работа, порой занимающая годы. Чем больше «масштаб поражения», и тем дольше длится реабилитация.

Переживание ПТС имеет свои стадии, и вот это будет важно для дальнейшего разговора. Это: стадия шока, стадия отрицания, стадия осознания, стадия восстановления.

То есть сначала в ситуации травмы решается задача выживания и скорейшего выхода из травмирующей ситуации. «Лишние» функции сознания выключаются, рефлексировать и тонко чувствовать сейчас не время. Человек в шоке легко подчиняется приказам, его критичность ослаблена. Мы действуем автоматически, ситуативно, при этом часто совершая усилия, на которые не способны в обычной жизни. В этом состоянии можно не есть, не спать, не чувствовать боли и холода. Потом, оглядываясь назад, невозможно бывает поверить, что все это выдержал, и даже в процессе вроде бы не очень было трудно.

Чувства бывают «приморожены», все прежде значимое становится «не так важно». С другой стороны, когда непосредственная опасность отступает, бывают приступы нарочитой веселости, истеричности, раздражительности. Человек испытывает тревогу, чувство потери контроля над жизнью. Только что он изо всех сил выживал, а сейчас уже не понимает, зачем, собственно, и смерть кажется не таким уж плохим вариантом.

Именно так описывают многие люди в воспоминания свое и других состояние во время войны. Конечно, все и у всех бывает по-разному, и все четыре года без перерыва не могут быть сплошной травмой, жизнь продолжалась. Но общие закономерности таковы. Конечно, сама по себе длительность воздействия — тоже отягощающий фактор.

В процессе самой трагедии врачевание душевных ран невозможно. Горе — непозволительная роскошь. Некогда оплакивать мертвых, некогда горевать по своей загубленной молодости, планам, чувствам, некогда вообще копаться в себе.

Помню, какое впечатление произвела на меня в подростковом возрасте книга Ванды Василевской «Радуга». Она была написана прямо тогда, в 42 году. Мать ходит проводить труп убитого сына-солдата. Другая мать своего застреленного мальчика закапывает прямо в сених дома — там земля непромерзшая. И ходят по этим сеним, а куда денешься. Еще одна мать теряет новорожденного, смотрит, как его топят в проруби. Еще одна ненавидит своего еще нерожденного ребенка, потому что он — плод изнасилования врагом. Дикая, запредельная травма. И почти никаких чувств. Повествование такое сдержанное, просто факты. Нашла лопату, вырыла могилу, положила сыночка, закопала. Все это в одном селе. Все это в тысячи раз превышает масштабы того, от чего в обычной жизни люди сходят с ума, погружаются в депрессии, пытаются покончить с собой. И название чудесное — «Радуга». Стадия шока.

(Только, пожалуйста, не надо мне писать в комментариях, что книга заказная и что Василевская

— любимая писательница Сталина. Я все это знаю. Это ничего не меняет абсолютно. Психологически точной книга от этого не перестала быть.)

На стадии шока помочь можно только делом. Спасти, защитить, вывести в безопасное место. Кстати, предание гласит, что именно после просмотра фильма по книге Василевской, снятого в 44 году, Рузвельт задал вопрос: «Чем мы можем помочь им прямо сейчас?», и помощь действительно усилилась. Не знаю, правда это или нет, но это нормальная реакция: чем я могу помочь прямо сейчас? Больше ничего не сделаешь. На поле боя, под обстрелом никто не будет доставать пулю и зашивать рану, повязку сверху — и все, до госпиталя. Или дотянешь, или нет. То же самое с душевной травмой.

И только потом, когда прямая угроза позади, начинается собственно процесс проживания травмы. Вот здесь происходили очень важные и интересные вещи.

Все знают про Парад Победы, но не все знают, что никакого Дня Победы в первые годы после войны не было. Сталин лично запретил его праздновать. Никаких парадов, никаких салютов, никаких цветов ветеранам. Все объединения ветеранов, которых тогда было много и они были молоды, также были запрещены. Никаких мемориалов, минут молчания, возложений цветов — ничего. Изучение событий войны, публикация воспоминаний не приветствовались.

Согласитесь, странно. Страшная война закончилась. Великая Победа одержана. Казалось бы, для государственной власти, чей авторитет был сильно подорван провалами первых лет — готовое решение. Делай культ Победы и пользуйся. Но нет. Вместо этого — заговор молчания. Табу на тему.

Почему так вел себя Сталин, более-менее понятно. Меньше всего ему хотелось, чтобы дело дошло до постановки вопроса, пусть просто в умах людей, о его роли во всем этом. У него-то, похоже, иллюзий особых не было насчет своей роли, судя по некоторым признакам. Если уж он почти прямым текстом прощения просил и совсем прямым благодарил народ за терпение...

Гораздо важнее понять, почему сам народ не очень-то сопротивлялся этому замалчиванию. Вот хотя бы те же герои войны. Понятно, что не было никаких встреч школьников с ветеранами. Но встречи-то все равно происходили, хотя бы на коммунальных кухнях. И, порой, сильно приняв на грудь, ветераны рассказывали всякое... Но большинство — не рассказывали. Байки смешные травили или просто отмалчивались, мол, война и есть война, чего там рассказывать.

Книги, подобные «Радуге», после войны не появлялись или как минимум не публиковались. Все новые фильмы — браваурные, радостные или лирические. «Мы выжили, мы дожили, мы живы, живы мы». Стихотворение, откуда эти строчки, о другом совсем, но состояние то самое. Радость избавления. Новая жизнь.

В психотерапии ПТС это называется «стадией кажущейся реабилитации», или «стадией отрицания». Ее признаки, прямо цитирую из пособия: «улучшение самочувствия, эмоциональный подъем, чувство «начала новой жизни», подавление травматичных воспоминаний и чувств, «шапкозакидательство», обесценивание травмы вплоть до отрицания, рационализация (объяснения, почему все было так, как было и иначе быть не могло)». Однако при этом: «базовая тревога, чувство беспомощности, регрессия, инфантильные реакции, импульсивность поведения, резкие немотивированные перепады настроения, психосоматические проявления, проблемы с аппетитом (отсутствие или переедание), сексуальные проблемы». Многое здесь вспоминается, и явный глуповатый инфантилизм послевоенных «военных» фильмов вроде «Шесть часов вечера после войны», и много кем отмеченный страх перед фронтовиками, которые могли неожиданно «взорваться», и показное обжорство «Кубанских казаков», и даже то, что «секса у нас нет», над которым только ленивый не смеялся, а, на самом деле, как говорил один мой знакомый, «не смешно ни грамма».

Роль стадии отрицания — обезболивание, анестезия. Она дает передышку непосредственно после травмы, спасительно заслоняет от боли, позволяя после путешествия в ад снова укрепиться в жизни. Чем более безопасна обстановка, в которой оказывается человек после травмы, и чем больше его внутренний ресурс, тем короче будет отрицание. Тем скорее найдутся силы для проработки горя.

А вот с этим было плохо. Жизнь не спешила налаживаться. В реальности жили очень плохо и голодно. Сталин готовился к продолжению войны и собирал еду на складах. Безопасности тоже не было — пошла новая волна репрессий. Плюс внятное требование сверху не помнить, не говорить, не касаться болезненной темы.

В результате произошло то, что часто происходит и в жизни с отдельными людьми — застревание на стадии отрицания. Вместо спасительной передышки она становится искусственной

заморозкой на годы. Когда долго работаешь, таких людей сразу видно — узкий, никогда полностью не раскрывающийся рот. Обеденные интонации, зажатая мимика. Неестественность реакций. Посмотрите фильмы последних сталинских лет, и вы поймете, о чем я. Все меньше чувств. Все больше лозунгов. Герои — как марионетки.

И тут, конечно, очень сильно отягчающим обстоятельством стала амбивалентность. Именно после таких травм застревание в стадии отрицания обычно бывает очень серьезным. Дети, пострадавшие от родителей — самый яркий пример. Они или вообще ничего не помнят. Или помнят, но не могут об этом говорить, вплоть до потери речи, до потери голоса, до спазмов и судорог при попытках. Или пережитая боль обесценивается — подумаешь, лупили, да мне нипочем. Или рационализируется: так и надо было, как же детей воспитывать без строгости. И очень много поддержки извне и очень много личного мужества надо, чтобы суметь сказать вслух: я пережил насилие. Это было со мной.

Если продолжать аналогию с раной, отрицание подобно пластырю. Сами знаете, что будет, если инфицированную рану плотно заклеить. Некроз тканей обеспечен. Вот и здесь не обошлось. Много отмерло, многое... Живое, теплое, лучшее. И до сих пор не восстановилось.

Поэтому я никогда не употребляю слово «совок» по отношению к людям. Люди с патологическим протеканием ПТС бывают очень неприятны в общении, знаете ли. Но когда осознаешь степень их внутренней боли, то единственное, что остается — прикусить язык.

Но народ — все же не один человек. Всегда есть более сильные, более сохранные, с большим ресурсом. Может быть, у них была хорошая семья, или друзья, или вера, или талант, или культура питала их душевными силами. Так или иначе, как только появилась возможность — прорвало. И об этом дальше.

Итак, прорвало.

1957 год — «Летят журавли». Первый фильм о том, что люди чувствовали. О боли, о горе, о потерянной жизни. Перед этим, 56 — «Судьба человека». Не о битвах. О потерях, об одиночестве. После, 59 — «Баллада о солдате».

Начало 60-х — первые публикации «военной прозы». Быков, Воробьев, Васильев, Бакланов. Пока только первые книги.

65 -67 годы — важнейшие события.

Восстановление праздника День Победы. Создание Могилы Неизвестного солдата у стен Кремля. Выход передачи «Минута молчания» на ТВ. Начало работы проекта Агнии Барто «Найти человека». И много еще всего: фильмы, книги, статьи, передачи.

Если имена писателей и кинорежиссеров известны, если за снятие табу «сверху» можно благодарить Хрущева, то кто придумал и сделал реальностью самые целительные, самые терапевтические, самые нужные людям действия — ту же Минуту молчания, то же шествие с останками неизвестного солдата, большинство из нас не знает.

«Степени ответственности и нашей внутренней приподнятости были столь велики, что мы в дни работы ни о чём другом не думали, ничем другим не занимались.». Потребность целого народа нашла вдруг выход через нескольких людей, которые в тот момент могли сказать о себе «мы есть дверь». Так всегда бывает. То, что должно прийти в мир, находит выход — через кого-то чуткого, «бродящего бесцельно по коридорам».

«Это был не текст, а молитва». Вот ведь еще что. У народа была перекрыта одна из самых важных возможностей восстановления после травмы — через веру, через обращение к Высшему. Конечно, вдовы и матери ходили тайком в церкви и ставили свечи, но общая трагедия разрешается только в общей молитве ив общих слезах.

Народ откликнулся страстно, всей душой. Слезы горя, слезы облегчения. Наконец можно было плакать, не стыдясь, и чувствуя, что не один. Прорвало. Мы на самом деле плохо представляем себе, чем обязаны всем этим людям. Они сняли, наконец, пластырь. Они дали темной, настоявшейся уже от времени стихии горя слова, образы, формы, выход. Спасли от душевной гангрены.

Началась стадия осознания. Ее признаки: «переполняющие» чувства, потребность говорить о них; потребность вернуться на место происшествия, воспроизвести детали; полнота и яркость воспоминаний, «повторное переживание»; проживание гнева к насильнику, компенсаторная агрессия; проживание вины и переход от вины к ответственности».

Вот такая вот работа была проделана за последующие 15–20 лет. Осознание. Тяжкий труд, требующий очень много сил. Кто работал с травмой, знает.

Коллективными терапевтами, как всегда в таких ситуациях, стали люди культуры: писатели, режиссеры. Не буду перечислять все фильмы и книги, их десятки. Только несколько, с датами, что сориентировать по времени: «А зори здесь тихие», Борис Васильев — 68, «Сотников», Василь Быков — 70, «Блокадная книга», Алесь Адамович и Даниил Гранин — 77, фильмы: «Обыкновенный фашизм» — 65, «Белорусский вокзал» — 70, «В бой идут одни старики» — 73, «Иди и смотри» — 85, песни, стихи: Окуджава, Высоцкий, стихи и еще много-много. Это не самовыражение, не творчество в прямом смысле. Это — пахота. Они должны были сказать за всех, для всех. Через них шло.

И это было общенародным таким делом, это самое «потребность вернуться на место происхождения, воспроизвести детали». В детстве меня возили в Хатынь, в Брестскую крепость, на Пискаревское кладбище, в Бабий яр. Я была очень впечатлительным ребенком, это было тяжело. Моя семья не была особо идеологизирована, никаких членов КПСС, и мое состояние мама всегда хорошо чувствовала. Но была потребность. И сопротивления не было тому, что погружаешься эту боль. Больно, но надо. Это было правильно.

Параллельно наверху всю разворачивалась трескотня, тра-та-та, Малая земля, и прочая бравурность. Стихотворение Винокурова про «Сережку с Малой Бронной» не стали публиковать, пока не заставили приписать в конце «победоутверждающее» четверостишие. Потому что в авторском варианте оно заканчивалось на «Который год подряд одни в пустой квартире их матери не спят». Строфа про «мир спасенный» вымучена позже и под нажимом. Сверху настойчиво утверждалось: травма была и вся вышла. Мы победили, это главное. «То, что отцы не достроили, мы достроим», и делов-то. Звездочек всем навесим, цветами завалим, Родину-мать с небоскреб размером отгрохаем, и все, тема закрыта.

Но под этой трескотней продолжала идти работа. Там если по текстам идти, все аспекты травмы проговариваются: «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны...». Один из самых сильных текстов, просто до озноба.

И только один аспект травмы умалчивался долго, еще очень долго — та самая амбивалентность. Насилие своих. Предательство своих. Те моменты, когда Родина-мать вдруг сама становилась убийцей.

Лишь косвенно, сдержанно, и у людей уже послевоенного поколения: «Нам говорили: «Нужна высота!» и «Не жалеть патроны!». Вон покатила вторая звезда — вам на погоны». Это Высоцкий.

Может быть, именно поэтому все получилось так долго. Полного очищения раны не происходило. Последнее табу слетело только в 90-е. Вот тогда хлынуло все то, что было написано раньше и не увидело свет. Появилось новое. Впервые были наконец произнесены вслух слова «штрафбат», «особый отдел», всплыли пирожные Жданова, появился «Ледокол» Суворова, Катынь и многое еще произошло.

Завершилось ли очищение? Нет, все еще нет. Один из последних актов очищения — воспоминания о зверствах уже советских солдат на освобожденных территориях. Это самое трудное, потому что это уже не травма пострадавшего, а травма насильника. Или травма свидетеля. И снова всплывает отрицание, и гнев, и люди агрессивно бросаются друг на друга, готовые глотки перегрызть из-за событий шестидесятилетней давности. Что само по себе — симптом. Еще болит, очень болит. Не только на дождь, как старые раны. Но рано или поздно с этой частью травмы тоже придется разобраться, иначе никак.

И осталось про то, что же мы имеем теперь.

Последняя стадия ПТС — стадия восстановления. Признаки: «переживание упадка сил, истощения, депрессии; ритуалы «завершения», «очищения»; появление чувства «выздоровления после тяжелой болезни»; осознание травмы как части опыта; переход от роли «жертвы» к роли «пережившего»; желание помочь другим пострадавшим или предотвратить повторение»

Собственно, началось уже в 80-е. Первый признак начала стадии восстановления — «упадок сил, истощение». Если речь идет о человеке, в начале стадии восстановления он ловит себя на мысли, что «не надо об этом думать, хватит». Он хочет отвлечься, переключиться. Именно в 80-е люди начали переключать канал, наткнувшись на фильм про войну. А 9 мая ездить на дачу или в лес на шашлыки.

Мой старший ребенок родился в 90-м. Он не был ни в Хатыни, ни на Пискаревском. На Поклонной он катается на роликах с друзьями. В Брестской крепости был, но она интересовала его как крепость, а не как место трагедии. Фильмы о войне он практически не смотрел, книги не читал. Я

не могу сказать, что это получилось осознанно, что мы как-то особо его берегли. Просто было какое-то внутренне чувство, что не надо. Не в смысле «не ценно», «неважно», а именно в охранительном смысле — «лучше бы не надо».

Это очень важный момент в проживании травмы. Однажды нужно просто сказать себе: хватит. Было и прошло. Больше — не надо.

Кстати, не уверена, что это было хорошо лично для моего сына. Страдание развивает душу. И мне сейчас не хватает взаимопонимания с ним про все это. Но меня, в общем, никто не спрашивал. Есть вещи сильнее конкретных родительских представлений и чаяний. И он, и я — часть общего процесса выхода из травмы. За то, чтобы когда-нибудь кошмар этой травмы все же кончился, его сверстники 40-х платили жизнью, а сверстники 60–70 душевной работой и слезами над книгами, а его поколению, видно, придется платить некой эмоциональной притупленностью. Георгиевской ленточкой на модном рюкзаке. Что же, значит, такова цена. До нас не выбирали и нам не выбирать.

(Интересно, что по отношению к другой, не менее масштабной национальной травме — травме репрессий — все совсем иначе. Он читал и «Крутой маршрут» и все что нужно. Сам, с интересом. Просто сдвиг по времени, там другая фаза. На 90-е только пик стадии осознания пришелся. А может, еще и не было пика, если после всего у нас та же организация у власти)

Безудержное потребление, которое выглядит малоприятно и многих наводит на мысль о сугубой бездуховности и деградации, на самом деле тоже может быть частью стадии восстановления. Часто человек в это время начинает больше есть, покупать обновки, баловать себя непривычными развлечениями. «Возрождение к жизни» идет через тело, через базовые потребности.

Наконец, становится пора завершить процесс, «осознавать травму как часть опыта, чтобы не допустить повторения». Европа в этой стадии уже давно. Но и степень травмы несовместима. Фильм «Большая прогулка» — 66 год! Мыслимо ли было тогда у нас снять приключенческую комедию о войне! Настоящую комедию, не отдельные эпизоды, лишь подчеркивающие трагизм, а жанра чистого, как слеза? И до сих пор невозможно. Мы еще не там.

Ритуалы «завершения», «очищения». Что у нас с этим?

С завершением лучше. Именно им занимаются ребята, которые ищут и хоронят останки павших. Тяжелая работа тоже, но необходимая. Другие ищут места захоронений. Восстанавливают списки частей. Огромную работу проделала писатель Светлана Алексиевич, она собрала воспоминания женщин и детей войны. Но какого-то общего, сильного действия очень не хватает. Может быть, еще родится.

С очищением пока не очень. Амбивалентность не преодолена. В этом пункте и осознание-то застопорилось. И пока еще очень сильно состояние депрессии, истощения, апатии, паралича воли.

Будем ждать.

Сегодня трудно поверить, но когда-нибудь наши дети и внуки будут воспринимать эту войну как мы воспринимаем войну 1812 года. С интересом, с уважением, с гордостью. Но без боли, совсем без боли. То есть они будут сочувствовать людям, героям книг и фильмов, будут плакать над ними, как мы плачем над дядей Томом. Но это будет уже общечеловеческое сочувствие, сами они не будут частью трагедии.

И тут очень важно вот еще что. Я опять процитирую пособие по терапии ПТС: «Стадии не линейны и могут меняться... Пережившие делают один шаг вперед и два назад, продвигаясь от одной стадии к другой... В то время, как многие пережившие двигаются вперед и начинают контролировать свою жизнь, другие продолжают страдать. Они борются с мыслями о травме, которые возвращаются снова и снова. Постоянные усилия для того, чтобы избежать воспоминания о травме, в буквальном смысле контролируют их существование, истощают и делают невозможной продуктивную жизнь. Это состояние может тянуться годами и иногда не проходит без помощи извне».

Люди разные. Сил у всех по-разному. Степень отягощенности личной, семейной истории тоже разная. Для кого-то эта работа пока непосильна, потому что их предки тоже не справились. И люди прячутся, кто в ура-патриотизм и типа «гордость за доблесть наших воинов», кто в цинизм, кто в заумь. Упираются, не хотят идти дальше. Строят новые фантомы и защиты. Хотя вариантов-то нет. Есть чаши, которые нужно испить до капли, и это единственное противоядие. Если до дна боли не дойдешь, и всплыть не получится. Но все в свое время и по силам. Некоторым нужны годы. Некоторым — поколения. На работу по осознанию травмы человек должен идти сам, добровольно, и тогда, когда чувствует в себе для этого силы, за шиворот туда никого не втащишь.

Помочь — можно. Что это за помощь в нашем случае? Принятие прежде всего. Создание

атмосферы поддержки, безопасности. Это основа основ терапии ПТС, без нее человек даже рассказывать, что произошло, не станет. Если он чувствует осуждение, агрессию, насилие, если его попытаются «учить жить», это еще больше запирает его в травме.

Поэтому я бы предложила: давайте не презирать тех, кто носит ленточки и не осуждать тех, кто не носит. Не думать свысока ни о тех, кто жарит шашлыки на даче, ни о тех, кто ходит поздравлять ветеранов. Давайте не злиться сильно на власти, которые спекулируют на этой теме, ведь все их телодвижения — лишь небольшая рябь на океане боли, и наша злость рядом с масштабом травмы слишком мелочна тоже. Не надо про это все ругаться, нападать, клеймить. Ну, не та тема. Я понимаю, это перемещенная агрессия, она требует выхода. Но если вам лично было больше дано сил, и вы дальше прошли по пути осознания, не отвечайте на агрессию. Не провоцируйте на еще большее застревание. Ну, пусть они рисуют своего Сталина, если им так легче. Раз им это надо, значит, у них внутри все еще ад. А у вас уже нет, так проявите сострадание. Бережнее надо друг к другу. Важно понять, что здесь мы все — одно целое, будь мы хоть патриоты, хоть космополиты, хоть фанаты Суворова (писателя), хоть маршала Жукова. Это глубже политики, идеологии, пристрастий и мнений, это родство, общность судьбы.

Меня тут спрашивали, а что же я предлагаю делать в День Победы.

Я вот 9 мая поеду с детьми на кладбище. Моя мама родилась в ночь на 22 июня 41 года. Далеко от войны, в Ташкенте. Но, в конце концов, именно травма войны ее так рано убила. Не буду объяснять, почему я так думаю, это личное, да и сложно. Для меня это так.

У кого родители живы — проведите день с ними. Даже если они не ветераны, они все задеты этой травмой так или иначе. И можно с ними поговорить, повспоминать, и тем самым тоже помочь исцелению. С детьми — тоже хорошо. Может быть, те, кто тогда погибал, были бы счастливы узнать, что их потомки просто гуляют с детьми в прекрасный весенний день и кормят их мороженым?

Уфф, все. Давно хотела все это проговорить.

Спасибо всем, кто дочитал до конца.

Спасибо большое всем, кто откликнулся на мои посты, искренне поделился чувствами и воспоминаниями.

Для меня это было очень важно, ваши слова про слезы, и про боль, и про, что думаете об этом. Как-нибудь вместе мы все это постепенно разгребем.

Особенно было важно прочесть комментарии и личные сообщения о том, что кому-то стало понятнее поведение родителей, травмированных войной. А кто-то стал меньше сердиться на детей за то, что они «не грузятся». Или меньше себя винить, что чувствует так, как чувствует именно он. Наверное, это самое главное, каждый такой момент, когда травма начинает чуть меньше разъедать конкретную семью, конкретного человека, это и есть победа.

Всяко-разно, конечно, тоже набежало, куда ж без этого. Я забанила несколько хамов, которые оскорбляли других участников обсуждения. Может, кого пропустила, дайте знать. Кто возмущался корректно, тот имеет право. Мне же полемизировать и что-то им доказывать как-то не хотелось, и вообще хотелось агрессии поменьше в этом всем. Поэтому комменты про «все неправда, не было этого» в большинстве своем остались без ответа, во всяком случае, моего. Кто хотел там похоловарить, получил возможность, я не против.

Мне совсем не хотелось писать текст в чем-то убеждающий. Мне хотелось — разрешающий.

Были сегодня на кладбище. По дороге застряли в пробке — ВИПы изволили возвращаться домой с парада. Люди сидели в раскаленных на жаре автобусах и задавали вопрос — ради этого ли воевали деды? Риторический, как вы понимаете. Ни один ВИП от народного гнева не пострадал.

Вечером на салюте счастливые и очень многочисленные дети азартно гадали, какой будет следующий — красный или золотой? Если души тех самых дедов (прадедов?) могут их видеть, они, наверное, счастливы.

По дороге с салюта Алиса отожгла с очередным вопросом: «Мама, а мы — патриархи? То есть тьфу, эти... патриоты?» Вот и что тут ответишь?

На кладбище тихо, зелено и соловьи. Много совсем заброшенных могил. Мы на какие-то из них положили цветочки. Как-то подумалось, что вот было бы хорошо в какой-нибудь день всем пойти и привести в порядок все-все могилы на всех-всех кладбищах. Забытые, заброшенные. По каждому-каждому имени пальцами провести. Может, именно этого нам не хватает?

Спасибо всем еще раз. Я такую родность чувствовала, когда читала большую часть откликов. Мы как-будто поговорили вместе, и помолчали, и повздохали. Как-то это правильно.

Меня много спрашивали: а каков механизм передачи травмы от поколения к поколению?  
Как могут война или репрессии травмировать людей, рожденных сильно после событий?

И вот вчера прочитала стихи замечательного человека, учителя и вообще нашего друга Дмитрия Шноля. Как раз об этом.

То, что мы не домололи,  
Мы оставим сыновьям:  
Бессознательные роли,  
Комья страхов по углам.

Нам оставил век оптовый  
Соль сиротства на губах,  
Запах ясельный, перловый,  
Окрик нянечки в дверях.

В пору взрослых умолчаний  
Разрастался в горле ком  
От невыплаканных, ранних  
Слёз неведомо о ком.

Было жалко, в самом деле, —  
Жизни на шестом году, —  
Маму, Сашку, тётю Нелю,  
Воспитательниц в саду.

Смерть казённая ходила  
Невидимкой здесь и там —  
За прилавком магазина  
И на празднике для мам.

Этот воздух мы впитали  
С суррогатным молоком,  
По полдня в футбол гоняли,  
Чтоб не спрашивать о том, —

Чтоб не спрашивать о диком,  
Горьком, не пережитом,  
Повсеместно здесь разлитом  
И не видимом при том.

И от этого наследства  
Нам не деться никуда,  
И пошаливает сердце  
От подённого труда.

Но, быть может, нашим внукам  
Вдруг удастся превозмочь  
Еле слышным чуждым звуком  
Подступающую ночь.

Вот такой вот примерно механизм. Дети за отцов отвечают. Не по закону, а по жизни, хотим мы этого или нет. Все непроговоренное, не названное своими именами, все, из чего не сделаны выводы, остается потомкам. «И от этого наследства нам не деться никуда...».

Кстати, я убеждена, что это единственная причина, по которой надо судить преступников. Наказанием никого не исправишь, мстью ничьей боли не уймешь. Но названное преступлением, взвешенное и оцененное, оплаченное и искупленное, остается в прошлом, а неназванное — продолжает висеть на шее у детей. Не обязательно прямых потомков преступника причем.

А за наводку на стихи спасибо Ане nisana.

АПД. Вот и пример про «наследство» <http://sokolsky-mg.livejournal.com/35604.html>

Чего далеко ходить. Превращение защитника в насильника — амбивалентность живет и побеждает.

Видимо, не отцепится это все от меня, пока не напишется. Сдаюсь и пишу.

Как же она все-таки передается, травма?

Понятно, что можно всегда все объяснить «потоком», «переплетениями», «родовой памятью» и т. д., и, вполне возможно, что совсем без мистики и не обойдешься, но если попробовать? Взять только самый понятный, чисто семейный аспект, родительско-детские отношения, без политики и идеологии. О них потом как-нибудь.

Живет себе семья. Молодая совсем, только поженились, ждут ребеночка. Или только родили. А может, даже двоих успели. Любят, счастливы, полны надежд. И тут случается катастрофа. Маховики истории сдвинулись с места и пошли перемалывать народ. Чаще всего первыми в жернова попадают мужчины. Революции, войны, репрессии — первый удар по ним.

И вот уже молодая мать осталась одна. Ее удел — постоянная тревога, непосильный труд (нужно и работать, и ребенка растить), никаких особых радостей. Похоронка, «десять лет без права переписки», или просто долгое отсутствие без вестей, такое, что надежда тает. Может быть, это и не про мужа, а про брата, отца, других близких. Каково состояние матери? Она вынуждена держать себя в руках, она не может толком отдаться горю. На ней ребенок (дети), и еще много всего. Изнутри раздрает боль, а выразить ее невозможно, плакать нельзя, «раскисать» нельзя. И она каменеет. Застывает в стоическом напряжении, отключает чувства, живет, стиснув зубы и собрав волю в кулак, делает все на автомате. Или, того хуже, погружается в скрытую депрессию, ходит, делает, что положено, хотя сама хочет только одного — лечь и умереть. Ее лицо представляет собой застывшую маску, ее руки тяжелы и не гнутся. Ей физически больно отвечать на улыбку ребенка, она минимизирует общение с ним, не отвечает на его лепет. Ребенок проснулся ночью, окликнул ее — а она глухо воев в подушку. Иногда прорывается гнев. Он подполз или подошел, тербит ее, хочет внимания и ласки, она, когда может, отвечает через силу, но иногда вдруг как зарычит: «Да, отстань же», как оттолкнет, что он аж отлетит. Нет, она не него злится — на судьбу, на свою поломанную жизнь, на того, кто ушел, и оставил, и больше не поможет.

Только вот ребенок не знает всей подноготной происходящего. Ему не говорят, что случилось (особенно если он мал). Или он даже знает, но понять не может. Единственное объяснение, которое ему в принципе может прийти в голову: мама меня не любит, я ей мешаю, лучше бы меня не было. Его личность не может полноценно формироваться без постоянного эмоционального контакта с матерью, без обмена с ней взглядами, улыбками, звуками, ласками, без того, чтобы читать ее лицо, распознавать оттенки чувств в голосе. Это необходимо, заложено природой, это главная задача младенчества. А что делать, если у матери на лице депрессивная маска? Если ее голос однообразно тусклый от горя, или напряжено звенящий от тревоги?

Пока мать рвет жилы, чтобы ребенок элементарно выжил, не умер от голода или болезни, он растет себе, уже травмированный. Не уверенный, что его любят, не уверенный, что он нужен, с плохо развитой эмпатией. Даже интеллект нарушается в условиях депривации. Помните картину «Опять двойка»? Она написана в 51. Главному герою лет 11 на вид. Ребенок войны, травмированный больше, чем старшая сестра, захватившая первые годы нормальной семейной жизни, и младший брат, любимое дитя послевоенной радости — отец живой вернулся. На стене — трофейные часы. А мальчику трудно учиться.

Конечно, у всех все по-разному. Запас душевных сил у разных женщин разный. Острота горя разная. Характер разный. Хорошо, если у матери есть источники поддержки — семья, друзья, старшие дети. А если нет? Если семья оказалась в изоляции, как «враги народа», или в эвакуации в незнакомом месте? Тут или умирай, или каменей, а как еще выжить?

Идут годы, очень трудные годы, и женщина научается жить без мужа. «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Конь в юбке. Баба с яйцами. Назовите как хотите, суть одна. Это человек, который нес-нес непосильную ношу, да и привык. Адаптировался. И по-другому уже просто не умеет. Многие помнят, наверное, бабушек, которые просто физически не могли сидеть без дела. Уже старенькие совсем, все хлопотали, все таскали сумки, все пытались рубить дрова. Это стало способом справляться с жизнью. Кстати, многие из них стали настолько стальными — да, вот такая вот звукопись — что прожили очень долго, их и болезни не брали, и старость. И сейчас еще живы, дай

им Бог здоровья.

В самом крайнем своем выражении, при самом ужасном стечении событий, такая женщина превращалась в монстра, способного убить своей заботой. И продолжала быть железной, даже если уже не было такой необходимости, даже если потом снова жила с мужем, и детям ничего не угрожало. Словно зарок выполняла.

Ярчайший образ описан в книге Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом».

А вот что пишет о «Страшной бабе» Екатерина Михайлова («Я у себя одна» книжка называется): «Тусклые волосы, сжатый в ниточку рот..., чугунный шаг... Скупая, подозрительная, беспощадная, бесчувственная. Она всегда готова попрекнуть куском или отвесить оплеуху: «Не напасешься на вас, паразитов. Ешь, давай!»... Ни капли молока не выжать из ее сосцов, вся она сухая и жесткая...» Там еще много очень точного сказано, и если кто не читал эти две книги, то надо обязательно.

Самое страшное в этой патологически измененной женщине — не грубость и не властность. Самое страшное — любовь. Когда, читая Санаева, понимаешь, что это повесть о любви, о такой вот изуродованной любви, вот когда мороз-то продирает. У меня была подруга в детстве, поздний ребенок матери, подростком пережившей блокаду. Она рассказывала, как ее кормили, зажав голову между голеньями и вливая в рот бульон. Потому что ребенок больше не хотел и не мог, а мать и бабушка считали, что надо. Их так пережитый голод изнутри грыз, что плач живой девочки, родной, любимой, голос этого голода перекрыть не мог.

А другую мою подругу мама брала с собой, когда делала подпольные аборты. И она показывала маленькой дочке полный крови унитаз со словами: вот, смотри, мужики-то, что они с нами делают. Вот она, женская наша доля. Хотела ли она травмировать дочь? Нет, только уберечь. Это была любовь.

А самое ужасное — что черты «Страшной бабы» носит вся наша система защиты детей до сих пор. Медицина, школа, органы опеки. Главное — чтобы ребенок был «в порядке». Чтобы тело было в безопасности. Душа, чувства, привязанности — не до этого. Спасти любой ценой. Накормить и вылечить. Очень-очень медленно это выветривается, а нам-то в детстве по полной досталось, няньку, которая половой тряпкой по лицу била, кто не спал днем, очень хорошо помню.

Но оставим в стороне крайние случаи. Просто женщина, просто мама. Просто горе. Просто ребенок, выросший с подозрением, что не нужен и нелюбим, хотя это неправда и ради него только и выжила мама и вытерпела все. И он растет, стараясь заслужить любовь, раз она ему не положена даром. Помогает. Ничего не требует. Сам собой занят. За младшими смотрит. Добивается успехов. Очень старается быть полезным. Только полезных любят. Только удобных и правильных. Тех, кто и уроки сам делает, и пол в доме помоем, и младших уложит, ужин к приходу матери приготовит. Слышали, наверное, не раз такого рода рассказы про послевоенное детство? «Нам в голову прийти не могло так с матерью разговаривать!» — это о современной молодежи. Еще бы. Еще бы. Во-первых, у железной женщины и рука тяжелая. А во-вторых — кто ж будет рисковать крохами тепла и близости? Это роскошь, знаете ли, родителям грубить.

Травма пошла на следующий виток.

Настанет время, и сам этот ребенок создаст семью, родит детей. Годах примерно так в 60-х. Кто-то так был «прокатан» железной матерью, что оказывался способен лишь воспроизводить ее стиль поведения. Надо еще не забывать, что матерей-то многие дети не очень сильно и видели, в два месяца — ясли, потом пятидневка, все лето — с садом на даче и т. д. То есть «прокатывала» не только семья, но и учреждения, в которых «Страшных баб» всегда хватало.

Но рассмотрим вариант более благополучный. Ребенок был травмирован горем матери, но вовсе душу ему не отморозило. А тут вообще мир и оттепель, и в космос полетели, и так хочется жить, и любить, и быть любимым. Впервые взяв на руки собственного, маленького и теплого ребенка, молодая мама вдруг понимает: вот он. Вот тот, кто наконец-то полюбит ее по-настоящему, кому она *действительно* нужна. С этого момента ее жизнь обретает новый смысл. Она живет ради детей. Или ради одного ребенка, которого она любит так страстно, что и помыслить не может разделить эту любовь еще на кого-то. Она ссорится с собственной матерью, которая пытается отстегать внука крапивой — так нельзя. Она обнимает и целует свое дитя, и спит с ним вместе, и не надышится на него, и только сейчас, задним числом осознает, как многого она сама была лишена в детстве. Она поглощена этим новым чувством полностью, все ее надежды, чаяния — все в этом ребенке. Она «живет его жизнью», его чувствами, интересами, тревогами. У них нет секретов друг о друга. С ним

ей лучше, чем с кем бы то ни было другим.

И только одно плохо — он растет. Стремительно растет, и что же потом? Неужто снова одиночество? Неужто снова — пустая постель? Психоаналитики тут бы много чего сказали, про перемещенный эротизм и все такое, но мне сдается, что нет тут никакого эротизма особого. Лишь ребенок, который натерпелся одиноких ночей и больше не хочет. Настолько сильно не хочет, что у него разум отшибает. «Я не могу уснуть, пока ты не придешь». Мне кажется, у нас в 60-70-е эту фразу чаще говорили мамы детям, а не наоборот.

Что происходит с ребенком? Он не может не откликнуться на страстный запрос его матери о любви. Это выше его сил. Он счастливо сливается с ней, он заботится, он боится за ее здоровье. Самое ужасное — когда мама плачет, или когда у нее болит сердце. Только не это. «Хорошо, я останусь, мама. Конечно, мама, мне совсем не хочется на эти танцы». Но на самом деле хочется, ведь там любовь, самостоятельная жизнь, свобода, и обычно ребенок все-таки рвет связь, рвет больно, жестко, с кровью, потому что добровольно никто не отпустит. И уходит, унося с собой вину, а матери оставляя обиду. Ведь она «всю жизнь отдала, ночей не спала». Она вложила всю себя, без остатка, а теперь предъявляет вексель, а ребенок не желает платить. Где справедливость? Тут и наследство «железной» женщины пригождается, в ход идут скандалы, угрозы, давление. Как ни странно, это не худший вариант. Насилие порождает отпор и позволяет-таки отделиться, хоть и понеся потери.

Некоторые ведут свою роль так искусно, что ребенок просто не в силах уйти. Зависимость, вина, страх за здоровье матери привязывают тысячами прочнейших нитей, про это есть пьеса Птушкиной «Пока она умирала», по которой гораздо более легкий фильм снят, там Васильева маму играет, а Янковский — претендента на дочь. Каждый Новый год показывают, наверное, видели все. А лучший — с точки зрения матери — вариант, если дочь все же сходит ненадолго замуж и останется с ребенком. И тогда сладкое единение можно перенести на внука и длить дальше, и, если повезет, хватит до самой смерти.

И часто хватает, поскольку это поколение женщин гораздо менее здорово, они часто умирают намного раньше, чем их матери, прошедшие войну. Потому что стальной брони нет, а удары обиды разрушают сердце, ослабляют защиту от самых страшных болезней. Часто свои неполадки со здоровьем начинают использовать как неосознанную манипуляцию, а потом трудно не заиграться, и вдруг все оказывается по настоящему плохо. При этом сами они выросли без материнской внимательной нежной заботы, а значит, заботиться о себе не привыкли и не умеют, не лечатся, не умеют себя баловать, да, по большому счету, не считают себя такой уж большой ценностью, особенно если заболели и стали «бесполезны».

Но что-то мы все о женщинах, а где же мужчины? Где отцы? От кого-то же надо было детей родить?

С этим сложно. Девочка и мальчик, выросшие без отцов, создают семью. Они оба голодны на любовь и заботу. Она оба надеются получить их от партнера. Но единственная модель семьи, известная им — самодостаточная «баба с яйцами», которой, по большому счету, мужик не нужен. То есть классно, если есть, она его любит и все такое. Но по-настоящему он ни к чему, не пришей кобыле хвост, розочка на торте. «Посиди, дорогой, в сторонке, футбол посмотри, а то мешаешь полы мыть. Не играй с ребенком, ты его разгуливаешь, потом не уснет. Не трогай, ты все испортишь. Отойди, я сама» И все в таком духе. А мальчики-то тоже мамами выращены. Слушаться привыкли. Психоаналитики бы отметили еще, что с отцом за маму не конкурировали и потому мужчинами себя не почувствовали. Ну, и чисто физически в том же доме нередко присутствовала мать жены или мужа, а то и обе. А куда деваться? Поди тут побудь мужчиной...

Некоторые мужчины находили выход, становясь «второй мамой». А то и единственной, потому что сама мама-то, как мы помним, «с яйцами» и железом погромыхивает. В самом хорошем варианте получалось что-то вроде папы дяди Федора: мягкий, заботливый, чуткий, все разрешающий. В промежуточном — трудоголик, который просто сбегал на работу от всего от этого. В плохом — алкоголик. Потому что мужчине, который даром не нужен своей женщине, который все время слышит только «отойди, не мешай», а через запятую «что ты за отец, ты совершенно не занимаешься детьми» (читай «не занимаешься так, как Я считаю нужным»), остается или поменять женщину — а на кого, если все вокруг примерно такие? — или уйти в забвенье.

С другой стороны, сам мужчина не имеет никакой внятной модели ответственного отцовства. На их глазах или в рассказах старших множество отцов просто встали однажды утром и ушли — и больше не вернулись. Вот так вот просто. И ничего, нормально. Поэтому многие мужчины считали

совершенно естественным, что, уходя из семьи, они переставали иметь к ней отношение, не общались с детьми, не помогали. Искренне считали, что ничего не должны «этой истеричке», которая осталась с их ребенком, и на каком-то глубинном уровне, может, были и правы, потому что нередко женщины просто использовали их, как осеменителей, и дети были им нужнее, чем мужики. Так что еще вопрос, кто кому должен. Обида, которую чувствовал мужчина, позволяла легко договориться с совестью и забить, а если этого не хватало, так вот ведь водка всюду продается.

Ох, эти разводы семидесятых — болезненные, жестокие, с запретом видеться с детьми, с разрывом всех отношений, с оскорблениями и обвинениями. Мучительное разочарование двух недолюбленных детей, которые так хотели любви и счастья, столько надежд возлагали друг на друга, а он/она — обманул/а, все не так, сволочь, сука, мразь... Они не умели налаживать в семье круговорот любви, каждый был голоден и хотел получать, или хотел только отдавать, но за это — власти. Они страшно боялись одиночества, но именно к нему шли, просто потому, что, кроме одиночества никогда ничего не видели.

В результате — обиды, душевные раны, еще больше разрушенное здоровье, женщины еще больше закикливаются на детях, мужчины еще больше пьют.

У мужчин на все это накладывалась идентификация с погибшими и исчезнувшими отцами. Потому что мальчику надо, жизненно необходимо походить на отца. А что делать, если единственное, что о нем известно — что он погиб? Был очень смелым, дрался с врагами — и погиб? Или того хуже — известно только, что умер? И о нем в доме не говорят, потому что он пропал без вести, или был репрессирован? Сгинул — вот и вся информация? Что остается молодому парню, кроме суицидального поведения? Выпивка, драки, сигареты по три пачки в день, гонки на мотоциклах, работа до инфаркта. Мой отец был в молодости монтажник-высотник. Любимая фишка была — работать на высоте без страховки. Ну, и все остальное тоже, выпивка, курение, язва. Развод, конечно, и не один. В 50 лет инфаркт и смерть. Его отец пропал без вести, ушел на фронт еще до рождения сына. Неизвестно ничего, кроме имени, ни одной фотографии, ничего.

Вот в таком примерно антураже растут детки, третье уже поколение.

В моем классе больше, чем у половины детей родители были в разводе, а из тех, кто жил вместе, может быть, только в двух или трех семьях было похоже на супружеское счастье. Помню, как моя институтская подруга рассказывала, что ее родители в обнимку смотрят телевизор и целуются при этом. Ей было 18, родили ее рано, то есть родителям было 36–37. Мы все были изумлены. Ненормальные, что ли? Так не бывает!

Естественно, соответствующий набор слоганов: «Все мужики — сволочи», «Все бабы — суки», «Хорошее дело браком не назовут». А что, жизнь подтверждала. Куда ни глянь...

Но случилось и хорошее. В конце 60-х матери получили возможность сидеть с детьми до года. Они больше не считались при этом тунеядками. Вот кому бы памятник поставить, так автору этого нововведения. Не знаю только, кто он. Конечно, в год все равно приходилось отдавать, и это травмировало, но это уже несопоставимо, и об этой травме в следующий раз. А так-то дети счастливо миновали самую страшную угрозу депривации, самую калечащую — до года. Ну, и обычно народ крутился еще потом, то мама отпуск возьмет, то бабушки по очереди, еще выигрывали чуток. Такая вот игра постоянная была — семья против «подступающей ночи», против «Страшной бабы», против железной пятки Родины-матери. Такие кошки-мышки.

А еще случилось хорошее — отдельно жилье стало появляться. Хрущобы пресловутые. Тоже поставим когда-нибудь памятник этим хлипким бетонным стеночкам, которые огромную роль выполнили — прикрыли, наконец, семью от всевидящего ока государства и общества. Хоть и слышно было все сквозь них, а все ж какая-никакая — автономия. Граница. Защита. Берлога. Шанс на восстановление.

Третье поколение начинает свою взрослую жизнь со своим набором травм, но и со своим довольно большим ресурсом. Нас любили. Пусть не так, как велят психологи, но искренне и много. У нас были отцы. Пусть пьющие и/или «подкаблучники» и/или «бросившие мать козлы» в большинстве, но у них было имя, лицо и они нас тоже по-своему любили. Наши родители не были жестоки. У нас был дом, родные стены.

Не у все одинаково, конечно, были семье более и менее счастливые и благополучные.

Но в общем и целом.

Короче, с нас причитается. Но про это в следующий раз.

Прежде чем перейти к следующему поколению, несколько моментов мне кажется важным

проговорить.

Я уже привыкла, что сколько раз не пиши в конце и ли начале текста что-нибудь вроде «конечно, все люди и семьи разные и бывает все по-разному», всегда энное число комментариев будет следующего содержания: «А я не согласен, все люди и семьи разные и бывает все по-разному». Это нормально. Меня больше беспокоит, что кто-то и с тревогой спрашивает: а у нас все не так, мы что, не со всеми вместе?

Еще раз: я просто пытаюсь показать механизм передачи травмы. В ответ на вопрос «как так может быть, что травмированы люди, родившиеся через полвека после». Вот так вот может быть. Это ни в коем разе не означает, что именно так и только так, и что у всех так и вообще. Я показываю механизм передачи на одном, довольно частом примере «сюжетной линии». Бывает и по-другому, конечно.

Во-первых, как многие отметили, есть поколения «между», то есть со сдвигом на 10–15 лет. И там свои особенности. Некоторые комментаторы уже отмечали, что те, кто во время войны был подростками и слишком быстро стал взрослым, потом с трудом становились зрелыми людьми. Пожалуй, да, это поколение надолго сохранило «подростковость», авантюренность. Они и сейчас часто выглядят совсем не на свои 75. Кстати, оно оказалось очень талантливым, именно оно обеспечило расцвет кино, театра, литературы в 70-е. Именно ему мы обязаны какой-никакой, а фрондой совку. В подростковости есть свои плюсы. Но, возможно, именно потому фронда осталась фрондой, не став ничем более серьезным. Матерости не было. Со зрелым родительством было тоже не очень, с детьми стремились «дружить». Но это не самый тяжелый вариант, согласитесь. Хотя и травмы все те же их не миновали, и общая экзистенциальная тоска брежневского времени многих загнала в могилу раньше времени. Кстати, свою «вечную молодость» они, похоже, передали детям. У меня много друзей в возрасте около 50, и они выглядят совершенно не старше, а то и моложе нас, 40-летних, о которых речь впереди. Много из того, что появилось в нашей стране впервые и вновь за последние годы, появилось именно благодаря тем, кому сейчас 50 с хвостиком. И многое из того, что появилось, долго не прожило, поскольку не хватало основательности.

Во-вторых, как многими было справедливо замечено, травмы в 20 веке шли волнами, и одна накрывала другую, не давая не то что зализать раны — даже осознать, что произошло. Это все больше истощало, снижало способность к сопротивлению. Именно беспомощные отцы 40-х годов рождения оказались неспособны защитить детей от Афгана. Ведь эта война не воспринималась на священной, ни вообще сколько-нибудь оправданной, сами мальчишки на нее отнюдь не рвались, да и на сильные репрессии власть была тогда не готова. Могли бы протестовать, и все бы закончилось раньше, но нет, ничего не было. Обреченно отпускали. И поди тут разбери, от чего больше травма — от самой войны или от этой пассивной беспомощности родителей. Точно так же возможны сдвиги в волнах травм внутри семьи: например, дочь «Страшной бабы» может тоже вырасти «железной», но чуть мягче, и тогда будет другой сценарий.

В-третьих, на массовые, народные травмы всегда накладывается история собственно семьи, в которой есть свои трагедии и драмы, болезни, предательства, радости и т. д. И все это может оказаться существенней исторический событий. Помню, как однажды в компании вспоминали события путча 91 года, а один мужик говорит: а у меня накануне сын с дерева упал и повредил позвоночник, боялись, что парализует, так что я не помню никакого путча. А моя бабушка рассказывала, что 22 июня 41 года была ужасно счастлива, потому что ночью у нее дочка родилась, и вроде понимала, что война и надо что-то другое испытывать, а счастье перекрывало все.

Наконец, вот что еще важно. То, как на ребенка влияет опыт родителей, зависит от двух противоположных стремлений. С одной стороны, ребенок стремится быть похожим на родителя, воспроизводить его жизненную модель, как самую известную и досконально изученную. С другой — люди в семье сцеплены друг с другом, как детальки в пазле, где у одного выемка, там у другого выступ. Ребенок всегда взаимодополнителен к родителям: они беспомощны — он супермен, они авторитарны — он пришиблен, они его боятся — он наглеет, они гиперопекают — он регрессирует. Если детей несколько, все попроще, они могут «распределить обязанности»: один может быть похож на родителя, а другой — дополнителен. Так часто и бывает. А если один? Какие причудливые формы это все приобретет? Плюс включается критичность к родительскому опыту и сознательные усилия «жить иначе». Так что как именно проявится травма в конкретном случае конкретного человека — никто заранее не скажет. Есть лишь сюжетные линии, потоки, в которых каждый барахтается, как может.

Естественно, чем дальше по времени от какой-то генерализованной травмы, типа Мировой войны, тем больше факторов и сложнее их взаимодействие, в результате получается все более сложная интерференционная картина. И, кстати, в результате мы все сейчас живы и обсуждаем все это, а то бы целые поколения прямо ложились и помирали, травмированные. Но поскольку поток жизни идет, всегда все не так однозначно-обреченно.

Вот это все хотелось уточнить прежде, чем продолжить.

АПД. Кстати, про самолеты очень интересная была ветка. Там все довольно понятно. Дети прекрасно считывают телесные реакции взрослых. Даже тщательно скрывааемые, просто на уровне холодного пота, сердцебиения, бледности. И если у взрослых есть объяснение в голове (пережил войну — боюсь звука самолетов), то у детей нет. А необъяснимые телесные реакции взрослых пугают ребенка еще больше, у него закрепляются свои панические реакции на те же обстоятельства.

Это если не думать про реинкарнации и т. п. А если думать, так и подавно.

Итак, третье поколение. Не буду здесь жестко привязываться к годам рождения, потому что кого-то родили в 18, кого-то — в 34, чем дальше, тем больше размываются отчетливые «берега» потока. Здесь важна передача сценария, а возраст может быть от 50 до 30. Короче, внуки военного поколения, дети детей войны.

«С нас причитается» — это, в общем, девиз третьего поколения. Поколения детей, вынужденно ставших родителями собственных родителей. В психологи такое называется «парентификация».

А что было делать? Недолюбленные дети войны распространяли вокруг столь мощные флюиды беспомощности, что не откликнуться было невозможно. Поэтому дети третьего поколения были не о годах самостоятельны и чувствовали постоянную ответственность за родителей. Детство с ключом на шее, с первого класса самостоятельно в школу — в музыкалку — в магазин, если через пустырь или гаражи — тоже ничего. Уроки сами, суп разогреть сами, мы умеем. Главное, чтобы мама не расстраивалась. Очень показательны воспоминания о детстве: «Я ничего у родителей не просила, всегда понимала, что денег мало, старалась как-то зашить, обойтись», «Я один раз очень сильно ударился головой в школе, было плохо, тошнило, но маме не сказал — боялся расстроить. Видимо, было сотрясение, и последствия есть до сих пор», «Ко мне сосед приставал, лапать пытался, то свое хозяйство показывал. Но я маме не говорила, боялась, что ей плохо с сердцем станет», «Я очень по отцу тосковал, даже плакал потихоньку. Но маме говорил, что мне хорошо и он мне совсем не нужен. Она очень злилась на него после развода». У Дины Рубиной есть такой рассказ пронзительный «Терновник». Классика: разведенная мама, шестилетний сын, самоотверженно изображающий равнодушие к отцу, которого страстно любит. Вдвоем с мамой, свернувшись калачиком, в своей маленькой берлоге против чужого зимнего мира. И это все вполне благополучные семьи, бывало и так, что дети искали пьяных отцов по канавам и на себе притаскивали домой, а мамочку из петли вытаскивали собственными руками или таблетки от нее прятали. Лет эдак в восемь.

А еще разводы, как мы помним, или жизнь в стиле кошка с собакой» (ради детей, конечно). И дети-посредники, миротворцы, которые душу готовы продать, чтобы помирить родителей, чтобы склеить снова семейное хрупкое благополучие. Не жаловаться, не обострять, не отсвечивать, а то папа рассердится, а мама заплачет, и скажет, что «лучше бы ей сдохнуть, чем так жить», а это очень страшно. Научиться предвидеть, сглаживать углы, разряжать обстановку. Быть всегда бдительным, присматривать за семьей. Ибо больше никому.

Символом поколения можно считать мальчика дядю Федора из смешного мультика. Смешной-то смешной, да не очень. Мальчик-то из всей семьи самый взрослый. А он еще и в школу не ходит, значит, семи нет. Уехал в деревню, живет там сам, но о родителях волнуется. Они только в обморок падают, капли сердечные пьют и руками беспомощно разводят.

Или помните мальчика Рому из фильма «Вам и не снилось»? Ему 16, и он единственный взрослый из всех героев фильма. Его родители — типичные «дети войны», родители девочки — «вечные подростки», учительница, бабушка... Этих утешить, тут поддержать, тех помирить, там помочь, здесь слезы вытереть. И все это на фоне причитаний взрослых, мол, рано еще для любви. Ага, а их всех нянчить — в самый раз.

Так все детство. А когда настала пора вырасти и оставить дом — муки невозможной сепарации, и вина, вина, вина, пополам со злостью, и выбор очень веселый: отделись — и это убьет мамочку, или останься и умри как личность сам.

Впрочем, если ты останешься, тебе все время будут говорить, что нужно устраивать собственную жизнь, и что ты все делаешь не так, нехорошо и неправильно, иначе уже давно была бы

своя семья. При появлении любого кандидата он, естественно, оказывался бы никуда не годным, и против него начиналась бы долгая подспудная война до победного конца. Про это все столько есть фильмов и книг, что даже перечислять не буду.

Интересно, что при все при этом и сами они, и их родители воспринимали свое детство как вполне хорошее. В самом деле: дети любимые, родители живы, жизнь вполне благополучная. Впервые за долгие годы — счастливое детство без голода, эпидемий, войны и всего такого.

Ну, почти счастливое. Потому что еще были детский сад, часто с пятидневкой, и школа, и лагеря и прочие прелести советского детства, которые были кому в масть, а кому и не очень. И насилия там было немало, и унижений, а родители-то беспомощные, защитить не могли. Или даже на самом деле могли бы, но дети к ним не обращались, берегли. Я вот ни разу маме не рассказывала, что детском саду тряпкой по морде бьют и перловку через рвотные спазмы в рот пихают. Хотя теперь, задним числом, понимаю, что она бы, пожалуй, этот сад разнесла бы по камешку. Но тогда мне казалось — нельзя.

Это вечная проблема — ребенок не критичен, он не может здраво оценить реальное положение дел. Он все всегда принимает на свой счет и сильно преувеличивает. И всегда готов принести себя в жертву. Так же, как дети войны приняли обычные усталость и горе за нелюбовь, так же их дети принимали некоторую невзрослость пап и мам за полную уязвимость и беспомощность. Хотя не было этого в большинстве случаев, и вполне могли родители за детей постоять, и не рассыпались бы, не умерили от сердечного приступа. И соседа бы укоротили, и няньку, и купили бы что надо, и разрешили с папой видаться. Но — дети боялись. Преувеличивали, перестраховывались. Иногда потом, когда все раскрывалось, родители в ужасе спрашивали: «Ну, почему ты мне сказал? Да я бы, конечно...» Нет ответа. Потому что — нельзя. Так чувствовалось, и все.

Третье поколение стало поколением тревоги, вины, гиперответственности. У всего этого были свои плюсы, именно эти люди сейчас успешны в самых разных областях, именно они умеют договариваться и учитывать разные точки зрения. Предвидеть, быть бдительными, принимать решения самостоятельно, не ждать помощи извне — сильные стороны. Беречь, заботиться, опекать.

Но есть у гиперответственности, как у всякого «гипер» и другая сторона. Если внутреннему ребенку военных детей не хватало любви и безопасности, то внутреннему ребенку «поколения дяди Федора» не хватало детскости, беззаботности. А внутренний ребенок — он свое возьмет по-любому, он такой. Ну и берет. Именно у людей этого поколения часто наблюдается такая штука, как «агрессивно-пассивное поведение». Это значит, что в ситуации «надо, но не хочется» человек не протестует открыто: «не хочу и не буду!», но и не смиряется «ну, надо, так надо». Он всякими разными, порой весьма изобретательными, способами устраивает саботаж. Забывает, откладывает на потом, не успевает, обещает и не делает, опаздывает везде и всюду и т. п. Ох, начальники от этого воют прямо: ну, такой хороший специалист, профи, умница, талант, но такой неорганизованный...

Часто люди этого поколения отмечают у себя чувство, что они старше окружающих, даже пожилых людей. И при этом сами не ощущают себя «вполне взрослыми», нет «чувства зрелости». Молодость как-то прыжком переходит в пожилой возраст. И обратно, иногда по нескольку раз в день.

Еще заметно сказываются последствия «слияния» с родителями, всего этого «жить жизнью ребенка». Многие вспоминают, что в детстве родители и/или бабушки не терпели закрытых дверей: «Ты что, что-то скрываешь?». А врезаться в свою дверь защелку было равносильно «плевать в лицо матери». Ну, о том, что нормально проверить карманы, стол, портфель и прочесть личный дневник... Редко какие родители считали это неприемлемым. Про сад и школу вообще молчу, одни туалеты чего стоили, какие, нафиг, границы... В результате дети, выросший в ситуации постоянного нарушения границ, потом блюдут эти границы сверх-ревностно. Редко ходят в гости и редко приглашают к себе. Напрягает ночевка в гостях (хотя раньше это было обычным делом). Не знают соседей и не хотят знать — а вдруг те начнут в друзья набиваться? Мучительно переносят любое вынужденное соседство (например, в купе, в номере гостиницы), потому что не знают, не умеют ставить границы легко и естественно, получая при этом удовольствие от общения, и ставят «противотанковые ежи» на дальних подступах.

А что с семьей? Большинство и сейчас еще в сложных отношениях со своими родителями (или их памятью), у многих не получилось с прочным браком, или получилось не с первой попытки, а только после отделения (внутреннего) от родителей.

Конечно, полученные и усвоенные в детстве установки про то, что мужики только и ждут, чтобы «поматросить и бросить», а бабы только и стремятся, что «подмять под себя», счастьем в

личной жизни не способствуют. Но появилась способность «выяснять отношения», слышать друг друга, договариваться. Разводы стали чаще, поскольку перестали восприниматься как катастрофа и крушение всей жизни, но они обычно менее кровавые, все чаще разведенные супруги могут потом вполне конструктивно общаться и вместе заниматься детьми.

Часто первый ребенок появлялся в быстротечном «осеменительском» браке, воспроизводилась родительская модель. Потом ребенок отдавался полностью или частично бабушке в виде «откупа», а мама получала шанс таки отделиться и начать жить своей жизнью. Кроме идеи утешить бабушку, здесь еще играет роль многократно слышанное в детстве «я на тебя жизнь положила». То есть люди выросли с установкой, что растить ребенка, даже одного — это нечто нереально сложное и героическое. Часто приходится слышать воспоминания, как тяжело было с первенцем. Даже у тех, кто родил уже в эпоху памперсов, питания в баночках, стиральных машин-автоматов и прочих придамбасов. Не говоря уже о центральном отоплении, горячей воде и прочих благах цивилизации. «Я первое лето провела с ребенком на даче, муж приезжал только на выходные. Как же было тяжело! Я просто плакала от усталости» Дача с удобствами, ни кур, ни коровы, ни огорода, ребенок вполне здоровый, муж на машине привозит продукты и памперсы. Но как же тяжело!

А как же не тяжело, если известны заранее условия задачи: «жизнь положить, ночей не спать, здоровье угробить». Тут уж хочешь — не хочешь... Эта установка заставляет ребенка бояться и избегать. В результате мама, даже сидя с ребенком, почти с ним не общается и он откровенно тоскует. Нанимаются няни, они меняются, когда ребенок начинает к ним привязываться — ревность! — и вот уже мы получаем новый круг — депривированного, недолюбленного ребенка, чем-то очень похожего на того, военного, только войны никакой нет. Призовой забег. Посмотрите на детей в каком-нибудь дорогом пансионе полного содержания. Тики, энурез, вспышки агрессии, истерики, манипуляции. Детдом, только с английским и теннисом. А у кого нет денег на пансион, тех на детской площадке в спальном районе можно увидеть. «Куда полез, идиот, сейчас получишь, я потом стирать должна, да?» Ну, и так далее, «сил моих на тебя нет, глаза б мои тебя не видели», с неподдельной ненавистью в голосе. Почему ненависть? Так он же палач! Он же пришел, чтобы забрать жизнь, здоровье, молодость, так сама мама сказала!

Другой вариант сценария разворачивает, когда берет верх еще одна коварная установка гиперответственных: все должно быть ПРАВИЛЬНО! Наилучшим образом! И это — отдельная песня. Рано освоившие родительскую роль «дяди Федоры» часто бывают помешаны на сознательном родителстве. Господи, если они осилили в свое время родительскую роль по отношению к собственным папе с мамой, неужели своих детей не смогут воспитать по высшему разряду? Сбалансированное питание, гимнастика для грудничков, развивающие занятия с года, английский с трех. Литература для родителей, читаем, думаем, пробуем. Быть последовательными, находить общий язык, не выходить из себя, все объяснять, ЗАНИМАТЬСЯ РЕБЕНКОМ.

И вечная тревога, привычная с детства — а вдруг что не так? А вдруг что-то не учли? А если можно было и лучше? И почему мне не хватает терпения? И что ж я за мать (отец)?

В общем, если поколение детей войны жило в уверенности, что они — прекрасные родители, каких поискать, и у их детей счастливое детство, то поколение гиперответственных почти поголовно поражено «родительским неврозом». Они (мы) уверены, что они чего-то не учли, не доделали, мало «занимались ребенком (еще и работать посмели, и карьеру строить, матери-ехидны), они (мы) тотально не уверены в себе как в родителях, всегда недовольны школой, врачами, обществом, всегда хотят для своих детей больше и лучше, да что там говорить, почитайте хоть вот этот журнал, и все увидите сами:)

Несколько дней назад мне звонила знакомая — из Канады! — с тревожным вопросом: дочка в 4 года не читает, что делать? Эти тревожные глаза мам при встрече с учительницей — у моего не получаются столбики! «А-а-а, мы все умрем!», как любит говорить мой сын, представитель следующего, пофигистичного, поколения. И он еще не самый яркий, так как его спасла непроходимая лень родителей и то, что мне попала в свое время книжка Никитиных, где говорилось прямым текстом: мамашки, не парьтесь, делайте, как вам приятно и удобно, и все с дитем будет хорошо. Там еще много всякого говорилось, что надо в специальные кубики играть и всяко развивать, но это я благополучно пропустила:) Оно само развилось до вполне приличных масштабов.

К сожалению, у многих с ленью оказалось слабовато. И родительствовали они со страшной силой и по полной программе. Результат невеселый, сейчас вал обращений с текстом «Он ничего не хочет. Лежит на диване, не работает и не учится. Сидит, уставившись в компьютер. Ни за что не

желает отвечать. На все попытки поговорить огрызается». А чего ему хотеть, если за него уже все отхотели? За что ему отвечать, если рядом родители, которых хлебом не корми — дай поотвечать за кого-нибудь? Хорошо, если просто лежит на диване, а не наркотики принимает. Не покормить недельку, так, может, встанет. Если уже принимает — все хуже.

Но это поколение еще только входит в жизнь, не будем пока на него ярлыки вешать. Жизнь покажет.

Чем дальше, чем больше размываются «берега», множатся, дробятся, причудливо преломляются последствия пережитого. Думаю, к четвертому поколению уже гораздо важнее конкретный семейный контекст, чем глобальная прошлая травма. Но нельзя не видеть, что много из сегодняшнего дня все же растет из прошлого.

Собственно, осталось еще немножко, почему это важно видеть и что со всем этим делать.

\*\*\*

Всем привет!

С трудом выбралась из-под паровоза консультаций и других неотложных дел. Все эти дни только и хватало, что комментарии читать и лишь иногда коротко отвечать. Но прочла я все, спасибо.

В общем, вы и без меня тут неплохо пообщались: поругались, помирились, пообнимались, всплакнули, друг друга полечили и наседавали мне тьму тьмушную вопросов. На которые попробую поотвечать по мере возможности.

Сначала вот о чем. Меня тут уличили, что я отвечаю тем, кто со мной соглашается и пишет, что «отозвалось» и игнорирую комментарии типа «вы не правы, все не так, у нас в семье было иначе». Наблюдение абсолютно верное, я даже сама сначала удивилась, а потом поняла, почему.

Наверное, странно, но мне как-то совсем не важно, права я или нет. Вернее даже так: некорректно задаваться таким вопросом, он неуместен. Мои тексты не являются ни научным исследованием, ни полемической публицистикой.

Больше всего эти тексты похоже на дублирование — есть такая важная техника в любимом мной методе психодрамы. Там психодраматист, ведущий, стоит за спиной человека, работающего со своей темой, и подстраивается под него: позой, дыханием, мыслями, чувствами. Становится дублем, «вторым я», задача которого — озвучить то, что сам человек не может пока осознать или осознал, но не может выразить словами, потому что сложно, много всего, слезы душат, внутренний запрет и т. д. При дублировании дается инструкция: «Если тебе подходит, повтори», «Если отзывается, скажи это еще раз». А если нет — просто пропусти мимо ушей, отмахнись. В реальной работе иногда человек повторяет, как эхо, иногда уточняет, иногда может сказать что-то совсем свое. Главное — чтобы отозвалось, так или иначе, вызвало движение чувств и мыслей. Дублирование не может быть «верным» или «не верным», его нельзя проверить на «объективную истинность», и уж точно не может быть одного универсального дублирования для всех. Критерий «хорошего» дублирования — отклик, попадание, отзыв. Отзыв был сильный, одних комментариев вон сколько. Часто очень точных, многие находили слова, приводили примеры, которые меня, в свою очередь, цепляли и вызвали чувства и мысли. И тогда мне хотелось ответить, продлить возникшую связь. А если кому-то не отозвалось, мимо прошло, так зачем спорить? Значит, это не про них, только и всего. Объективно не про них, или это такое отрицание — мне тоже не очень важно, ведь за что я люблю психодраму: она не насилует, не взламывает защит. Каждый может услышать ровно столько, сколько он готов и хочет сейчас. Я меньше всего хотела бы кому-то насильственно «открывать глаза». Именно поэтому я призывала к осторожности всех, кто спешил поделиться «прозрением» с родителями. Одно дело, человек сам случайно наткнулся на текст или получил ссылку от друга, ровесника — другое, когда ребенок тебе его показывает «со значением». Надеюсь, у всех все обошлось.

Так вот, это было что-то вроде дублирования сразу большой общности людей, поколения или его части. Опыт был очень непростой для меня и очень неожиданный. Ведь многое из того, что написано, и с моей семьей буквально не совпадает. Моя бабушка была очень теплой, а мама руководила отделом крупного строительного треста и вряд ли была такой уж беспомощной. И открытых дверей никогда не требовала, и видиться с отцом не запрещала. Но в общем и целом, для поколения, это услышалось так.

Поэтому не обижайтесь все те, с кем я не стала спорить. Если вам было важно, что-то прояснилось, отпустило — я очень рада. Оказалось мимо — тоже нормально. Тем более все это вообще спонтанно возникло, мы с вами на работу не договаривались. Ну, вот так вот вышло у нас. Видать, надо было.

Я понимаю, что это сильно непривычный жанр для «Живого Журнала», где люди, наоборот, скорее настроены на полемику, ну, уж простите. В другой раз поспорим:)

Интересно, что единственный раз за все время, когда я очень жёстко отреагировала, был связан с комментарием в духе «это все от того, что они бездуховные совки, не верящие в Бога». Вот сама удивилась, но поймала себя на том, что глотку сейчас перегрызу за «своих», даже и за Страшную бабу тоже. Какая-то у нас тут родственность образовалась в процессе, и можно сколько угодно ругаться внутри, тут кого только не было, от сталинистов до скинхэдов, но вот так вот снаружи, свысока, обесценивая все пережитое нами и нашими родными... «Урою нафиг!».

Очень расстроило, что кто-то не услышал важное: восприятие ребенком ситуации может сильно отличаться от реального положения дел. Это не люди военного времени своих детей не любили, это ребенок так воспринимал их «затвердевшее» от горя и перенагрузок состояние. Это не сами дети войны были по-настоящему повально беспомощны, это их дети так трактовали безумный запрос родителей на любовь. И «дяди Федоры» тоже не параноики, намеренно убивающие в своих детях всякую живую инициативу, ими движет тревога, а ребенок может воспринимать это как установку «быть беспомощным».

Понимаете, никто не виноват. Никто не рожал детей, чтобы их не любить, использовать, кастрировать. Я уже говорила и повторю еще раз: это не про психов ненормальных история, не про уродов бездуховных, которым лишь бы устроиться в жизни получше за счет других. Это все — про любовь. Про то, что люди — живые и ранимые, даже если могут вынести невозможное. Про то, как странно искажается поток любви под влиянием травмы. И про то, что любовь, когда она искажена, может мучить хуже ненависти.

Поколение горя и стоического терпения.

Поколение обиды и потребности в любви.

Поколение вины и гиперответственности.

Вот уже прорисовываются черты поколения пофигизма и инфантильности.

Зубцы колес цепляются друг за друга, «передай дальше», «передай дальше».

Меня тут спрашивают: а что же делать? А что делать, когда поток засорен, забит, запружен, искажен?

Чистить. Разбирать, разгребать, по колено, по пояс, по сколько надо в грязную тухлую воду лезть и руками чистить. Вытаскивать оттуда обиды, вину, претензии, неоплаченные счета. Промывать, сортировать, что-то выбрасывать, что-то оплакивать и хоронить, что-то оставлять на память. Давать место и путь чистой воде. Можно делать это самому, с психологом, индивидуально, на группе, просто обсуждая с друзьями, супругами, сестрами-братьями, читая книги, как угодно, кто как может и хочет. Главное — не сидеть на берегу мутного потока, обиженно надув губы и не бухтеть про «плохих родителей» (говорят, даже сообщество такое есть в ЖЖ, правда, что ли?). Потому что так можно всю жизнь просидеть, а поток дальше пойдет — детям, внукам. Экологически сильно нечистый. И дальше придется сидеть и бухтеть про никуда не годных детей.

Мне вот кажется, что это именно нашего поколения задача, не случайно большинство участников обсуждения — именно из него. Потому что, напомним, ресурса у нас много. Брать на себя ответственность — не привыкать. Образованные мы все, опять-таки. Сдается, эта задача нам вполне по силам. Ну, и вообще, сколько можно, хватит уже.